

Карьеры были во льду.

Ещё до выезда из города на эту ставшую традиционной для нас весеннюю охоту мы опасались, что подобное может случиться. Хотя где-то в глубине души всё-таки верили в лучшее. Но, как оказалось, не судьба... И вот мы, пятеро мужчин с уже расчехлёнными и собранными ружьями, стоим в некотором замешательстве у кромки рыхлого, пористого льда, – которому и жить-то осталось от силы два-три дня, а там солнышко и ветерок сделают своё дело, разгонят и расплавят эту сереющую и кристально посверкивающую массу, освободят воду, – и не знали, то ли возвращаться домой восвояси, не солоно хлебавши, то ли всё-таки поверить в удачу и заночевать здесь в надежде на завтрашнее, может быть, более счастливое утро.

Карьеры с прошлой весны изменились до неузнаваемости. Оставшиеся на месте бывших когда-то торфоразработок, они со временем заполнились водой, заросли по берегам и бровкам хорошим крепким лесом. В самих карьерах удачливо ловилась рыба. Здесь находила приют перелётная птица, выводила своё потомство дикая утка. И Господь будто хранил эти места обетованные для всякой дичи и живности. Долгие годы обходили их стороной лесные пожары. Ещё не набравший полной силы лес не рубили заготовители.

Но прошлым летом беда пришла и в эти заповедные места. Торф загорелся. Весь лес по берегам с материковой стороны оказался порушенным, обожжённым, образовав из хаотически нападáвавших деревьев непроходимые завалы. Чтобы победить пожар, специалисты МЧС перегородили русло речки и пустили её по новому направлению, тем самым значительно подняв уровень воды в карьерах.

Вода затушила пожар, но теперь обезображенные стволы, торчащие из-под льда, отделяли берег от чистой воды. Это расстояние также нужно будет как-то преодолеть. К тому же не пешком, а на лодке – лёгком и маленьком, рассчитанном максимум на двух человек ботике. Но для преодоления этого препятствия время пока ещё не пришло, и мы прячем привезённую лодчонку (“наш лёгкий чёлн”) в прибрежных кустах.

Повздыхав и посотав на погоду, походив вдоль обезображенных берегов ознового водного пространства (вся площадь карьеров оказалась под водой, образовав единый водоём), мы, наконец, принимаем решение ехать на лесную речку Пожму.

По раскисшей просёлочной дороге, через поля и овраги, застревая в спрятанных под прошлогодней травой лужах и яминах, натолквшись вдоволь в не справляющейся с дорогой машине плечами и спинами, мы, наконец, останавливаемся на опушке леса. Справа от нас уходит вдаль бывшее когда-то колхозным поле. Теперь оно зарастает почувствовавшим волю мелким березняком, и оттого его заброшенность видится ещё более трагичной — будто вовсе и не земля была брошена и загублена, а чья-то долгая человеческая жизнь.

Невесело достаём из машины рюкзаки, ружья. Дальше по лесной дороге придётся идти пешком. О том, чтобы по ней проехать на машине до речки, даже и думать нечего.

В лесу ещё лежит снег. Лужи в колеях старой дороги покрыты льдом. Хотя и тут время берёт своё. Потерявший былую зимнюю крепость лёд под ногой проваливается и ребристо топорщится рыхлыми, изъеденными оттепелью краями, с неприятным свистом чиркает по высоким голенищам резиновых сапог. Нам приходится с опаской обходить по краю эти лужи, чтобы случайно не повредить обувь. Да и ледяная вода моментально заолодила ноги. Пройдя совсем немного, быстро свыкаемся с трудностями дороги: вовремя уклоняемся от встречных веток, не скользим на обледенелых, спрятанных под снегом рытвинах и колдобинах, не спотыкаемся о поваленные и сгнившие стволы небольших сосен. В движениях появляется уверенность, и мы начинаем больше оглядываться по сторонам, восхищаясь увиденным. И действительно, только ещё освобождающийся от снега лес уже таит в себе пробуждение будущей жизни. Это удивительное, не столько зримо увиденное, сколько уловленное какими-то особенными сторонами души чувство явно присутствовало, было разлито в окружающем воздухе, в едва уловимом запахе, в движении вершин начавших пробуждаться после зимы деревьев. Идём всё-таки осторожно, друг за другом. Разговариваем негромко. Каждый замечает что-то своё, его удивительное, и указывает на это близнему, тот другому, и так по цепочке.

Дорога оказалась неблизкой. Пока добрались до реки, подустали и первым делом решили подкрепиться.

Тропинка наша упёрлась в разлив, исчезла под тёмной торфяной водой. Дальше идти всё равно было некуда. Время до сумерек ещё оставалось, поэтому мы и расположились, не спеша, на стволе поваленной берёзы у самой воды, предварительно освободив из садков подсадных уток.

Утки, обретая свободу, радостно и призывно закрикали, заныряли в свободной воде, защёлкали клювами в прибрежной траве, что-то там выискивая и поедая. Их криканье, хлопанье крыльев непривычно громко раздавалось в вечернем сереющем, притихающем лесу. От этого чувство оторванности, будто обречённости невольно закрадывалось в сердце. Вокруг всё чужое, неузнаваемое. А ты, такой одинокий, ощущаешь окружающую тебя со всех сторон мощь, силу неведомую и непонятную, но явно существующую, живущую, дышащую вокруг. От этого беспокойно, взволнованно становится на сердце. И это чувство, поселившись где-то глубоко внутри, уже не оставляет, не забывается, беспокойно теплится в груди. И когда мы, наконец, рассадив уток на воде, разошлись по своим местам, прячась за деревьями, это чувство вдруг пробилось в сознание ярким и определившимся образом одиночества.

Я будто бы увидел с высоты птичьего полёта себя — такого маленького, притулившегося в ожидании чего-то неведомого к стволу дерева. А это неведомое может произойти, случиться в любую секунду и быть совершенно не таким, как предполагается гордому человеческому разуму.

Что мы есть на этой земле? Что в силах наших и что зависит от нас? И почему так трепещет в груди взволнованное, будто даже обречённое сердце? Что коснулось его, что вселило смятение и неуверенность?

Я вышел из укрытия, запрокинув голову, посмотрел в высокое небо. Надо мной раскачивались огромные, уходящие далеко ввысь кроны деревьев. Там, наверху, был ветер, а тут, у земли, мы его не чувствовали и не слышали. А деревья раскачивались в вышине беззвучно, как в немом кино, и от этого собственная малость, уязвимость ощущались ещё более и отчётливее.

Пройдя немного вдоль реки, где-то в лесу вышедшей из берегов и затопившей округу, я поднялся на небольшой пригорок, от которого начиналась неровная, клочковато поросшая невысоким кустарником поляна. Кустарник был гол, и взгляд на нём почти не задерживался. А вот стоявшая по другую сторону поляны сосна невольно притягивала его к себе. Ствол дерева внизу был велик в ширину, чёрен. Он словно подтягивал на себя землю, укрытую коричневатой прошлогодней травой и хвоей. Земля наползала на ствол, неровно проваливаясь меж мощных, исполинских корней.

Но чем выше поднимал я взгляд по стволу, тем всё больше изумлялся происходившей перемене. Сосна светлела. Чернота оставалась там, внизу. А ввысь устремлялся цвет жизни, цвет Бога — золотой. И золото это, поднимаясь к небу, становилось чистым, светящимся. Уже давно не видимое с земли солнце густым медным светом обливало вершину сосны, и оттого кора, покрывающая ствол, мягко и густо сияла, словно отдавая округе накопленное за век тепло.

Я не ушёл с пригорка до тех пор, пока солнце не покинуло сосну. Пока ствол её, отдав золото свечения, не изменил свой цвет на жёлтый — обыкновенно бледный, земной.

Только тогда, вроде бы даже от чего-то и утомившись, я сошёл с пригорка, углубился в лес и присел на торчащий из снега сломанный ствол дерева. Медленно и плотно лес заполняли сумерки. Постепенно и неотвратимо одиночество и покинутость сдавливали моё сердце в недобром предчувствии. И это предчувствие меня самого делало другим — мельче и жалостливее. Это предчувствие не давало спокойствия, куда-то гнало, торопило, хотя самому мне не хотелось сходить с места, двигаться. Наоборот, хотелось успокоиться, забыться, может быть, даже заснуть...

Подсадные утки раздражающе громко крикали, словно их напугали чем-то неотвратимо наступающим. Не было в их криканье призыва — был страх. Так мне казалось.

И тут нахлынула мне в сердце волна воспоминаний давно минувшего. Почему всё это вернулось именно сейчас? Какими путями давнее ожило, заволоновало? Нет на это у меня ответа. Но только, словно в забытии, вдруг вижу себя со стороны и совсем маленьким. Вижу огромные, невероятной толщины, стволы тополей, росших когда-то невдалеке от берега озера Цыганка — райского озера моего детства. Голые их ветки черны в надвигающихся скорых зимних сумерках. Черны и фигуры людей с охотничьими ружьями, что стоят у этих тополей, прячась за огромные стволы от пронизывающего ледяного ветра. Они закуривают, подняв высокие воротники полушубков, и тихо, по-недоброму разговаривают. Я их не слышу, но понимаю, что они решают мою судьбу.

* * *

Поверхность озера, занесённая снегом, гладка и пустынна. Почти каждый вечер той зимой я, ещё совсем маленький мальчик, вдруг страстно увлечённый катанием на лыжах, приходил сюда и бегал вдоль берега по проторённой лыжне. В выходные дни на озере собиралось много народа — катались с гор, прыгали с самодельных трамплинов. В будни же, особенно поздним вечером, здесь никого нет. Тихо, безлюдно. Единственный жилой дом, бывший когда-то церковным, а теперь превращённый в жилой барак, слегка светил дальними окнами. Находящаяся же за железнодорожной насыпью школа от озера и вовсе не видна. С других трёх сторон Цыганку окружали заснеженные сейчас болота, заросшие кустарником овражки и пустыри да грязные контуры асфальтового завода.

Я нёсся, как мог, на своих убогих лыжах (креплением у которых служили полоски из сыромятной кожи — они удерживали мои валенки на скользкой деревянной поверхности, хоть под подошвы и набилось достаточно снега) по разбитой взрослыми лыжне, когда вдруг увидел этих двоих, вышедших из-под деревянного железнодорожного моста. Я пробежал мимо, не испугавшись, кажется, даже не обратив на них особого внимания, и пустился дальше вокруг озера. Я ещё мог, когда круг закончился, остановиться, у церковного дома подняться на железнодорожную насыпь и мимо опустошённого храма,

вдоль сараев и гаражей, уйти домой — в наш квартал, состоящий из четырёх пятиэтажных домов. Всё это я мог, но не сделал. Почему-то в душе моей в те годы не было страха. И я не боялся ни темноты, ни одиночества, ни пустынности занесённых снегом берегов озера.

Когда я вновь приблизился к тополям, меня от них окликнули:

— Эй, пацан, подойди-ка сюда.

Сойдя с лыжни, я по рыхлому снегу двинулся к берегу. Тогда и увидел ружья у них за плечами (этим меня не удивил — на Ярмарке подобное добро у многих водилось), и то, что, закуривая, они прячут лица от ветра в воротники полушубков.

— Говорю тебе, вдруг повредим мальчика, — негромко проговорил тот, что держал в своих ладонях, сложенных лодочкой, зажжённую спичку. — Потом отвечай.

— Да ни хрена ему не будет, — огрызнулся прикуривавший. И уже, обернувшись ко мне, спросил: — Жить хочешь?

Я молчал ошарашенно, не понимая, в шутку или серьёзно меня спросили.

— Ну что, значит, хочешь... Тогда беги. — И потянул с плеча за ремень ружья. — Нам патроны проверить надо, давай-давай, шустрее, не стой, не в упор же в тебя стрелять.

Ужас заполнил моё сознание, затмил разум, парализовал ноги. Я заплакал. Сразу — громко и горько. Нет, не от страха — от обиды, от ощущения какой-то высшей несправедливости, неправоты того, что со мной происходит. Конечно, и страх не оставил меня, но это внезапно возникшее чувство было весомее, больнее.

Уже сняв ружьё с плеча, мужик одной рукой дотянулся до моего плеча, слегка потряс и подтолкнул.

— Чё ты сопли распустил. Беги, давай.

Я с надеждой посмотрел на второго. Тот, хоть и не снял с плеча ружьё, но продолжал молчать и за меня не заступался.

Не переставая реветь, я неуклюже развернулся на лыжах, загребая нетронутый, рыхлый снег, и поплёлся назад к лыжне, спиной чувствуя взгляды тех, кто остался стоять у старых тополей. Выбравшись на лыжню, я почему-то побежал не в сторону церковного дома (а значит, ближе и к своему дому), а к забору асфальтного завода, к противоположному берегу озера. Теперь я понимаю, что тогда это было спасение. Тень от высокого забора в какой-то мере спрятала меня от стрелков. В противном случае на снегу в лунном свете я был бы у них как на ладони. Потому, услышав грохнувшие за спиной два выстрела, я внутренне приготовился к ощущению боли, но не почувствовал её. Только от страха заплакал ещё громче, продолжая как можно быстрее скользить на своих убогих лыжах по укатанному снегу. За спиной ещё дважды прогрохотало. Потом ещё раз, и всё смолкло. Тишина опустилась на землю, и только снег вдоль лыжни визжал от втыкаемых в него металлических наконечников лыжных палок. Только моё частое дыхание, запалённое, горячее, тревожило густой воздух, пронизанный холодом приближающейся ночи.

Обогнув озеро, я не пошёл к церковному дому, а, пробравшись сквозь кустарник, вышел к другому деревянному мосту, ближайшему к железнодорожным путям, ведущим на Московский вокзал, и, пройдя под ним, крадучись, проскользил мимо гаражей Горгаза к своему кварталу.

Родителям о случившемся я тогда ничего не сказал. Правда, мама обратила внимание, что я немного не в себе, но всё это было отнесено на усталость и на то, что я сверх положенного прогулял на улице вместо того, чтобы лишний раз повторить домашнее задание к завтрашним урокам. И только когда она утыкивала в батарею мои промокшие валенки для просушки, то наклонилась и подняла с пола что-то мелкое, тёмное, выкатившееся из недр чёрного войлока. Положив находку на ладонь, она протянула ко мне руку.

— Что это такое?

На её ладони лежала с одной стороны до черноты обожжённая деформированная, а с другой — мышино-серая и округлая свинцовая дробишка.

Я пожал плечами.

Ах, сколько же времени прошло с того вечера! Уже нет ни озера Цыганки, ни мостов, ни железнодорожной насыпи. Озеро и каналы, когда-то служившие водными путями для подвоза товаров на Нижегородскую ярмарку, на моих глазах замыли песком из Оки. Теперь это место намного выше бывшей насыпи.

Здесь построили дома, бензозаправки, магазин. Собор вновь открыли. Сарай снесли, сады вырубали и сравнивали с землёй. Церковный дом вновь стал домом причта. Мосты разобрали. Всё с тех времён изменилось до полной неузнаваемости, да такой, что и взгляду не за что уцепиться, чтобы напомнить о былом.

Но я-то ту встречу на пустынном озере помню. Мне какая-то сила не даёт похоронить её в себе под ворохом более поздних впечатлений (а они были страшнее тех детских, пережитых мною на заснеженном озере), как сделала это наша общая история, спрятав былое под неисчислимыми тоннами речного песка.

Значит, жизнь человеческая свершается по каким-то особым законам? У неё свои сроки, свой календарь, своя ответственность и своя память, которую невозможно ни изменить, ни вытравить. Для чего-то всё это в нас живёт, заставляя страдать, продолжает требовать некоего ответа, преследуя воскрешающими вновь и вновь картинами и переживаниями.

* * *

В сумеречном лесу над разлившейся и безмолвной рекой прогремел выстрел. Громко запричитали испуганные утки. Почти тут же послышался голос Вадима:

— Ну, вы где там, пора собираться. Здесь утка не летит. Одна просвистела высоко. Пальнул для острстки, да, конечно, не достал.

Опять все собираемся у реки. Сажаем в садки подсадных уток, увязываем рюкзаки и в обратный путь. По лесу движемся уже в темноте, хорошо — небо чистое, безоблачное, и лунный свет отражается в островках сохранившегося снега.

К машине выходим в полной темноте. Сапоги выпачканы до колен дорожной грязью. Но делать нечего — как есть, лезем в салон, трогаемся с места. Проезжаем немного вперёд и застреваем в первой же колее. Я остаюсь за рулём, остальные мои спутники с упорством толкают машину сзади. Так добираемся до оврага, в глубине которого течёт ручей. Через ручей в виде моста брошено несколько брёвен. Я с отчаянием и злостью жму на педаль газа. Слышу сзади предостерегающие крики, впереди в свете фар приближается узенький мосток. Нет никакой уверенности, что его ширины хватит, но и тормозить слишком поздно — под колесами непролазная грязь.

Всё происходит в мгновение. Колеса подскакивают на неровных брёвнах, идут юзом в сторону, но машина уже выскакивает на противоположный склон. Рёв двигателя терзает ночную тишину подступившего к дороге леса. И всё-таки машина с натугой буквально вылезает из оврага. Только тут, у самой кромки, вновь застревает, но это уже не страшно. Ко мне подходят мои спутники. Один из них почти шепчет, обращаясь ко мне.

— Ты сейчас проехал половиной колеса над ручьём по самому краю моста. Это чудо, что не перевернулся.

Я зол, возбуждён от недавно выпитой водки. Хочется кричать, что в такие места надо было идти пешком или не ходить вовсе, только никак не ехать на “жигулях”, но сдерживаюсь и молчу. Все и так видят, что я на нервах.

До избушки у карьера добираемся глубокой ночью. Хозяин, как всегда, пьян. Громко орёт радио.

Опять выпиваем водки, ужинаем и укладываемся на ночлег. В камерке тесно и смрадно, но выбора нет. На улице в эту пору ночевать невозможно — холод жуткий, а близость льда в карьерах действует на округу, как огромный природный холодильник.

Хозяин засыпает первым, храпит. Кто-то из наших осторожно встаёт и выключает орущее рекламой и попсовой музыкой радио. Хозяин немедленно просыпается и восстанавливает порядок в доме. Радио опять истошно орёт. Пытка продолжается. Я одеваю потеплее, выхожу на улицу и забираюсь в машину. В ней пока тепло. Опускаю спинку сиденья, укутываюсь в куртку, устраиваюсь поудобнее и закрываю глаза.

Почему же именно этот случай, когда в меня, как в живую мишень, стреляли два выродка, вспомнился сегодня у реки? Почему именно он и именно сейчас всплыл из глубин памяти? И почему я против всякой логики побежал

в противоположную сторону от дома? Ведь это я сейчас понимаю, что у забора меня скрыла тень, а тогда об этом я и думать не мог. Да и времени для размышлений не было.

Наконец, вообще, почему это всё со мной произошло?

* * *

Микрорайон Ярмарка состоит из нескольких пятиэтажных домов красного кирпича, возведённых в начале шестидесятых годов. До этой поры, ещё с самых древних времён, стояли здесь старинные лабазы, бараки, сараи, образующие примыкающую к Нижегородской ярмарке жилую зону. Понятно, что заселяли её не выходцы из благородных семей, а люди совсем иного отношения к жизни — более бесшабашного и сурового. В большинстве своём это были в первом или во втором поколении выходцы из сёл и деревень, которые, покинув родные места, и от крестьянства отбились, и городскими людьми не стали.

Когда наша семья поселилась в одном из таких только что построенных пятиэтажных домов у Спасского Староярмарочного собора, большие кварталы двухэтажных бараков, сложенных из старого, обожжённого до свекольной бурости кирпича, ещё стояли нетронутыми, и в них ютились, как мне тогда казалось, несметное количество народа. Практически каждый из этих бараков по количеству населения представлял из себя крепкое русское село. Но население это к середине двадцатого века оказалось значительно “подпорченным”, поражённым всевозможными нравственными и физическими пороками. И если отцы и матери моих сверстников, да и поколения несколькими годами постарше ещё работали грузчиками, уборщицами, плотниками, укладывали вручную асфальт на дорогах и мели мётлами тротуары, то дети их, в большинстве своём по лени и слабым умственным способностям не сумевшие окончить даже четырёх классов, работать “на стройках коммунизма” не хотели и по достижении совершеннолетия, как по установленной кем-то традиции, совершали какое-либо преступление (чаще всего, кражу или разбой) и отправлялись в тюрьму.

Образование в этой среде не то чтобы не поощрялось — к нему были абсолютно равнодушны, как к чему-то неведомому и непонятному. Потому процесс ухода детей в воровство и прочие правонарушения воспринимался, как что-то вполне естественное, с пониманием и даже сочувствием. Это была своя, закрытая некими неофициальными общественными рамками среда. Она не культивировалась специально, она росла и существовала сама по себе, потому что другого выхода у этих людей просто не было. Поэтому, в свою очередь, и от них не шло какой-то особой агрессии. Всё происходило в рамках естественного и понятного, привычного, когда-то давно и неведомо кем раз и навсегда заведённого. И от того, что эти люди затем переселились в более современные дома, мало что изменилось в их жизни, в их взаимоотношениях с окружающими. В этой среде господствовала непонятная постороннему взгляду самодостаточность, определяющая их жизненный уклад с рождения до самой старости.

Единственное, что потревожило, но не изменило ход их жизни, была война.

Чужаков в этой среде, впрочем, как и в любой другой — интеллигентной, научной, театральной, технической, да хоть и рабочей — недолюбливали. Но если ты жил вместе с ними в одном доме, в одном квартале, хоть и работал где-то “в верхих”, то всё равно принимался за своего и не отторгался. Поэтому за всё время своего детства я не припомню ни жестоких драк в нашем квартале, ни убийств, ни огульного пьянства, что сейчас, к глубокому моему сожалению, уже становится нормой.

Нет, я не вспоминаю то время с раздражением или осуждением. Более того, я признаюсь, что люблю его. Главное его достоинство по сравнению с теперешним — оно не было таким жестоким, агрессивным, хотя и идеальным его тоже не назовёшь. Да, жили бедно (оттого, наверно, и пили несоизмеримо меньше), двери в квартиру, если хозяева или их дети были дома, днём на ключ не закрывали. Взрослые парни и мы, мелюзга, вместе любили играть в лапту или “гонять” чижику. Как-то незаметно эти парни, в большинстве своём, затем, как я уже сказал, попадали в тюрьмы, едва успевая за всё время

учёбы закончить четыре-шесть классов в школе, при этом в каждом оставаясь, да ещё не по одному разу, на второй год. Но почему-то всё это нас до поры до времени не касалось. Это потом некоторые из моих сверстников “продолжили дело” своих старших братьев. А тогда мы были вместе, и старшие нас не то чтобы оберегали, но как-то естественно не допускали “переступить черту”.

О тюремной зоне в годы моего детства мне приходилось слышать много романтического и даже увлекательного. О жизни за колючей проволокой рассказывали нам обычно вернувшиеся из заключения старшие братья моих друзей по уличной жизни. Забегая вперёд, скажу, что по мере взросления и мои друзья один за другим получили вынесенные им судами сроки. Затем всё повторилось с более молодым поколением – их младшими братьями. Так что закон “ярмарочного” бытия продолжал действовать неукоснительно.

Меня судьба щадила и оберегала. Хотя казалось, что только по чистой случайности, по неведомому мне стечению удивительных обстоятельств я не оказывался с нашей уличной ватагой там, где затем по непониманию или из жажды приключений совершалось преступление – подламывалась будка сторожа, разбивалось стекло, начиналась драка...

И всё-таки сейчас, лёжа в остывающей машине посреди заброшенной, почти полностью покинутой людьми дереvушки, я больше думал именно о физическом охранении меня моей судьбой. Я думал о спасённой моей жизни, которая в детские годы, и сейчас я это отчётливо понимаю, десятки раз буквально висела на волоске.

Что за тайна сокрыта в этом чуде? Для чего я был спасён в случаях, кажущихся на первый взгляд совершенно безнадежными?

Вот два примера из самого раннего детства.

Одним из самых излюбленных мест для наших мальчишеских игр тогда были общественные деревянные двухэтажные сараи. Располагались они на пустыре у озера, которое пересекала насыпь улицы Должанской. Во что мы могли играть на этой территории? Да, конечно, в войну, стреляя друг в друга из поджигов, рогаток, самодельных ружей с натягивающейся туго резинкой, стреляющих пулями, согнутыми из алюминиевой проволоки. Конечно, подбные игры были не такими уж и безобидными. Иногда они приводили к вполне ощутимым физическим страданиям и даже увечьям. Всё это происходило не по злобе, а из-за неосторожности, по непониманию опасности или по недоразумению. Но уж совсем непонятное приключение однажды произошло со мной. Тогда мы отчаянно сражались на деревянных шпагах, изображая из себя мушкетёров. Знаменитый французский фильм только что прошёл в наших кинотеатрах, и нам, уличным канавинским, ярмарочным мальчишкам просто вскружил головы. Днями напролёт мы изготавливали каждый для себя шпаги, мушкеты, придумывали друг другу заковыристые, на французский манер, имена и прозвища. Затем разбивались на команды и отчаянно, не жалея друг друга, махали и тыкали друг в друга заострёнными палками-шпагами. Во время одного такого боя в “пылу схватки” я не заметил, как оступился и неизбежно должен был рухнуть вниз головой со второго этажа сарая. Но произошло чудо. Шнурок ботинка зацепился за торчащий из доски гвоздь, и на этой ненадёжной страховке я повис вниз головой. Благо рядом были мои враги по игре, но друзья по двору – спасли, вытянув обратно на выступ. Но потрясение оказалось для всех столь сильным, что игру на тот день единодушно решили прекратить.

Или вот другой “смертельный” случай, при воспоминании о котором и сейчас мурашки бегут по моему телу. Произошло это опять же в раннем моём детстве, но уже суровой зимой.

Морозы тогда стояли жестокие, но и они не могли удержать меня дома во время долгожданных новогодних каникул. Тайком от родителей я оделся потеплее, в толстый свитер и довольно уже ношенную кроличью шубку, взял в охапку лыжи и убежал на улицу. Покатавшись немного с горы на берегу Цыганки, я перешёл на лыжах озеро, пробрался через прибрежный кустарник, возле которого довольно намело рыхлых сугробов, и вдоль высокого забора асфальтового завода ушёл на просторы огромного, раскинувшегося почти от самого волжского берега (от Сибирских пристаней) до транссибирской железнодорожной насыпи Мещёрского озера.

Искрился под солнцем снег. Огромное белое безмолвное пространство встретило меня недружелюбно, настороженно. Даже птиц не было видно.

Всё живое куда-то попряталось от жгучего, губительного холода. Обжигающий лёд ветер гонял по ровному бескрайнему снежному полю струйки крупчатого шуршащего снега.

Совсем немного прошёл я по этому тоскливому снежному безлюдью и остановился. Огляделся вокруг и не увидел ни одного лыжного следа. Всё замело снежной порошей. И только в одном месте снег мне показался будто бы утоптаным. Он слюдяно поблескивал, отражая неяркий свет туманящегося от мороза солнца. Рядом с этим местом и лёд почему-то оказался ещё не замёрзшим, оголённым. Вроде бы и следы валенок вокруг были наморожены. Давние они или свежие – не разобрать. Схватило их накрепко морозом, так что и струящаяся позёмка не заравнивала, а обтекала.

Я решил подойти к этому месту. Что за любопытство потянуло меня к нему – сейчас этого объяснить уже невозможно. Только я зачем-то снял лыжи и попробовал крепость льда ногой. Он оказался, как я и думал, крепким. Всё-таки с опаской я решил обойти это место по наметённому сбоку сугробу, и в тот же миг почувствовал, что плавно погружаюсь куда-то вниз, в водяную бездну. Под снегом оказалась спрятанная рыбаками от мороза прорубь. Я знал с малолетства, что такие окна во льду делались специально. Сверху их застилали ивовыми прутьями и заваливали снегом. В таком укрытии вода в проруби даже в сильные морозы долго не замерзала, зато к этому месту подходила рыба.

Одежда моя быстро намокла. И хотя я держался раскинутыми руками на снегу, но сил вытащить самого себя из воды, вернее, из густой снежно-водяной каши, у меня никак не доставало. Я боролся, пытался упираться ручонками в снег, но он под моими ладошками только проваливался вниз, в воду.

Ещё не почувствовав телом ледяного обжигания водой, я, тем не менее, может быть, впервые так ясно ощутил неизбежное – конечность человеческой жизни. Помощи ждать было неоткуда, и я по-настоящему, панически испугался. Конечно, в тот момент я не думал о смерти – я не знал, не представлял, что это такое. Но ужас вполз мне в сердце, вгнездился в нём, и это было куда страшнее, чем водяная бездна подо мной. Ощущение покинутости – вот самое жуткое и ни с чем не сравнимое в жизни человека чувство. Оно завладело детским сердечком. Хотя, видимо, ненадолго. В какой-то миг что-то переменялось во мне самом, откуда-то взялись силы, и я выполз из ледяной ловушки.

До дома было довольно далеко. Я понимал, что бежать обратно следует как можно быстрее. Одежда моя моментально превратилась в ледяной панцирь. Ноги в сырых заледенелых валенках и руки в ледышках, которые прежде были варежками, невыносимо болели от ломающего их холода.

Пробираться назад можно было только на лыжах. Снег глубокий, и по замёрзшим болотинам между двух озёр пробиться пешком я бы никак не смог.

Обледенелые валенки на детских лыжах держались с трудом, ежеминутно соскальзывали, и я вновь и вновь проваливался чуть не по пояс в снег. От боли и отчаяния я плакал, но упрямо всё ближе и ближе пробирался к дому. Мысленно я разбил дорогу на участки, и маленькие победы, когда я преодолевал один из них, придавали мне силы. Вот позади гладь озера, вот пробрался через лесок, вот миновал забор асфальтного завода, вот кустарник у озера Цыганка...

Когда замёрзший, обледенелый, с намороженными на ресницах слезами я приплёлся домой, моя мама, увидев меня, так перепугалась, что чуть не лишилась чувств. Затем, раздевая, стаскивая с ног окаменевшие валенки и штанишки, всё плакала и приговаривала – запомни, так никогда нельзя делать. Потому что если ты умрёшь, то умру и я... Тогда она лучше осознала, насколько близок я был к гибели. Но вот спасся, выжил и, кажется, даже не заболел. Хотя последнее утверждать наверняка не могу. Детская память слишком выборочна, и такие пустяки, как простуда, она могла просто в себе не сохранить.

Сейчас, вспомнив об этих двух приключениях, я невольно потянул из памяти кажущуюся нескончаемой нить воспоминаний о подобных событиях и фактах. Господи, сколько же их было! Оказывается, что ещё в самом раннем детстве я столько раз мог лишиться жизни ввиду разных "случайностей", со мной происходивших. Однако этого не произошло. Почему? Я мог несколько раз почти наверняка утонуть, умереть от заражения крови, погибнуть от несчастного случая, но ничего этого не случилось. Можно ли подобное состояние моей жизни объяснить банальной случайностью? Вряд ли. Тут явно видна

борьба двух сил, взаимоисключающих начал. И далеко не все жизни в этой борьбе остаются сохранёнными. У меня и на этот счёт примеров тоже предостаточно. Значит, вопрос состоит только в том, какое моё в этой борьбе значение и участие, для чего была сохранена мне жизнь?

И тут, как-то даже и не к месту, вспомнился мне ещё один, на этот раз, должно быть, малопримечательный случай из моего детства. Но ведь запомнился, как бы мало примечательным он ни был. Сейчас же и в памяти всплыл — значит, неспроста. Во всяком случае, я уж привык прислушиваться к себе, к тем импульсам, что посылает мне в эту ночь моя память.

Вспомнился мне вдруг один человек, которого сейчас уже наверняка нет в живых. Был он в нашем дворе вообще-то мало чем примечателен — совсем не высокого роста, хром и очень, как мне тогда казалось, стар. Чаще всего я его видел, когда он сидел на старой, много раз изломанной и кое-как после этого отремонтированной, отчего имела она вид убогий и допотопный, лавочке у подъезда своего дома и люто не любил нас, детей из окрестных домов. Откуда взялась эта нелюбовь, сейчас определить не представляется никакой возможности. Видимо, сказывалась здесь некая традиция. Когда-то либо он обидел кого-то из малышни, а те в отместку начали обзывать его хромым, либо, напротив, ребятня по своему детскому жестокосердию прицепилась к нему с этим прозвищем — теперь этого не разрешить. Но факт есть факт — завидев старика, мы обходили стороной лавку и в подъезд не шли, если нам туда даже и надо было. А если всё-таки решались и слышали от него брань, то непременно начинали в ответ дразнить его за хромоту, да и вообще огрызались, как только могли. Здесь к месту будет отметить и ещё одну отличительную черту ушедшего времени — мата в отношении детей тогда почти не допускали. История с хромым тут не была исключением. С ключкой за нами бегал, уши надрать обещал, родителям сообщить грозился. Но всё выражение тех, отрицательных по отношению к нам эмоций обходилось без “гнилых” и неудобоваримых слов.

В то же время была на советском телевидении одна популярнейшая передача, посвящённая воинам Великой Отечественной войны — павшим и живым, которую вёл писатель Сергей Сергеевич Смирнов. К сожалению, Хрущёвым в пятидесятых годах многое было сделано для принижения нашей Победы. А уж много ли нужно было поднадавить на наш народ, не избалованный вниманием со стороны властей, чтобы он понял — нескромно это ходить по улице с орденами и медалями на груди. И оправдание такой позиции быстро придумали. Если надеваешь награды, значит, выпячиваешься, героя из себя строишь. А мы, те, у кого наград нет, что же, хуже тебя, что ли? И перестали наши бывалые воины носить свои в боях и лишениях добытые ордена и медали. Отдали нам, ребятне, для игр и забав. Сколько этих красивых кругляшек ходило по нашим рукам — теперь и не перечесть. Но вот в одной из передач в канун Дня Победы Сергей Сергеевич призвал воинов надеть заслуженные награды и не слушать всяких болтунов. Это выступление писателя произвело большой эффект. Тогда телевидение смотрели все.

Рано утром в канун праздника я вышел на улицу. В праздники мне всегда не терпелось выйти на волю. Там происходило всё самое главное. На лавке у подъезда в привычной своей позе, привалившись боком к поперечной перекладине, сидел наш хромым. Правда, одет он был необычно, парадно, в коричневый пиджак. И вся грудь его была увешана наградами — боевыми орденами и медалями. Я опешил, остановился, уважительно-заискивающе поздоровался, но хромым не поверил в мою искренность. А может, не смог простить прошлые обиды. Он буркнул что-то не очень приветливое, недобро посмотрел на меня, наверно, ожидая какого-то подвоха (ещё и стесняюсь, наверняка, собственных наград), и ушёл в сторону улицы Мануфактурной.

В тот же день я рассказал об увиденном своим друзьям по двору, и мы решили больше никогда этого человека не обижать. Теперь уж точно не помню, но кажется, что своё слово сдержали.

* * *

Я и сам не заметил, как заснул. Воспоминания детства, казалось, непроливаемым облаком окутали меня, роясь то ли в моём сознании, то ли вовне, вокруг меня. Но вся эта череда происшествий, событий, поступков тревожила

в моей душе чувства совершенно особенные и ранее мною не переживаемые.

Разбудил меня ранний стук в боковое стекло машины моего товарища. Был он уже в полной экипировке – ружьё за плечом, патронташ на поясе, охотничья фуражка щегольски надвинута козырьком на самые брови.

– Ну, что, выспался?

Разминая затёкшую спину, я с трудом, неловко вылез из машины.

– Однако, морозно сегодня.

– Так ведь не лето. Смотри, как стекло в машине запотело. Чего не грел? Погонял бы двигатель.

– Грел... Потом заснул. Мучился от холода, да думал, что это во сне.

Детство своё перед этим вспоминал, как зимой чуть не утонул... А где остальные? Ещё не встали?

– Спят.

Я сходил в дом. В тёмных сенях нашёл своё висевшее на гвозде ружьё. Сквозь бревенчатую стену было слышно, как в комнате орёт голосом очередной “звезды” не выключенное радио.

– Вы что, так и спали под эту какофонию? – спросил я товарища, вернувшись к машине.

– Если бы спали. Голова и сейчас трещит. Как он может жить с вечно работающим репродуктором?

– Думаю – так спасается от одиночества и ночных страхов. Сам-то представь, каково всю зиму одному сивуху пить. Вокруг снег да дикие собаки. Здесь всякая нечисть над тобою вволю поизмывается, нашутится, попугает.

Не сговариваясь, мы направились к ближайшему карьёру, берег которого едва виднелся сквозь оголённые ветки жиденького леска, отделяющего его от огородных усадов, жирно чернеющих после стаявшего снега. Покуда солнце ещё не поднялось высоко, мы хотели обойти его вокруг, обследовать берега и, если найдётся подходящее место, то постоять на ранней утренней тяге.

Сам карьер был всё так же затянут льдом, но по закраинам уже виднелась свободная вода. Садиться в эти небольшие полыньи утка, конечно, не будет, но чем-то привлечь птицу они могли, и потому мы устроились неподалёку, присев на какие-то по своей крепости не совсем надёжные пеньки.

Как-то неожиданно над лесом показалось солнце. И всё вокруг разом переменялось, ожило. Сразу несколько тетеревов уселись на вершины деревьев прямо напротив нас, на другой стороне. Крупные птицы будто оглядывались вокруг. Затем одна из них снялась и полетела на нашу сторону, только значительно правее. Мой спутник осторожно, крадучись, начал к ней пробираться, но я был уверен, что тетерев его к себе на расстояние выстрела не подпустит. Так и вышло.

А диск солнца поднимался всё выше и выше, становясь ярче, раскалённее. И дышать потяжелевшим морозным воздухом, вкус которого незаметно переменялся, наполнившись новыми влажными запахами, было радостно. Ощущалось во всём этом что-то первозданное, незыблемое, и оттого, видно, необъяснимая весёлость вселилась в душу. Будто наполнился живой воды, той, что столько столетий была несбыточной мечтой наших предков.

Выстрел всё-таки прогрохотал. Его звук чужим пугающим эхом отозвался в дальнем заозёрном лесу, спугнув стаю каких-то пичуг со старой раскидистой берёзы. Птицы с шорохом пронесли над голубоватой поверхностью старого, пористого, готового вот-вот исчезнуть, умирающего весеннего льда и вновь скрылись в коричневых прибрежных зарослях засохшего прошлогоднего камыша.

– Ну, что, стрелял от отчаяния? – спросил я вернувшегося товарища.

– Не подпустил тетерев, улетел. А ты чего стоишь, как на прогулке в парке отдыха? Руки в карманах и, наверняка, даже ружьё не зарядил.

Я неопределённо пожал плечами.

Пройдя по берегу ещё метров сто, мы подошли к бывшей железнодорожной насыпи и поднялись на неё. Когда-то здесь проходила узкоколейка длинной во многие десятки километров, которая тянулась до таёжного посёлка Рустай, что на реке Керженец. Теперь о ней напоминали только догнивающие в земле шпалы. Предприимчивые люди, пользуясь всеобщим бардаком, снимали с них рельсы и скорёхонько сдали на металллом. Я нашёл под ногой небольшой ржавый костылёк, отёр его о песок и положил к себе в карман – вот и вся память, что осталась от узкоколейки, которая столько лет служила,

по которой до самой “перестройки” возили лес, торф, продукты для людей и всё тех же грибников, ягодников, охотников. Благодаря этой дороге существовали таёжные посёлки. Теперь всё брошено, по-варварски уничтожено, разграблено.

Мы долго ходили по тропам и ещё не разезженным до болотной неприглядности лесным дорогам. Выходили к небольшим потаённым озерам, где мой товарищ так-таки и добыл двух нерасторопных чирков. День разгулялся на славу – затеплело вокруг, завухало. Еле заметный лёгкий парок потянулся вверх от просыхающих на взгорках полянок. Дорожные лужи расстались с последним хрустким ледком, который ранним утром ещё потрескивал и ломался под подошвами сапог.

За всё время нашего блуждания я так и не снял ружья с плеча. Мне не хотелось ни в кого целиться, тем более – убивать. Жизнь вокруг так удивительно красива и хрупка. И мне самому она, может быть, была дана как раз для того, чтобы это прочувствовать и осознать. Да, может быть, именно для этого – кто знает?

Возвращаясь вновь к насыпи, чтобы по ней вернуться в деревню, мы с моим спутником сделали привал у небольшого ручейка. И надо же было такому случиться – на самой его стремнинке стоял, дожидаясь своей добычи, маленький щурёнок. Мой товарищ без труда поймал его рукой и показал мне.

– Смотри, какой карандаш.

Я кивнул головой, улыбнулся.

– Выпусти его, пусть растёт, – посоветовал я своему спутнику.

– Конечно, куда его... Пусть благодарит меня... и Бога, – неожиданно добавил он.

Уже отпущенный вновь в воду щурёнок ещё какое-то время ошалело постоял на месте, словно окончательно не веря в свалившуюся на него удачу, и вдруг в одно мгновение исчез где-то в глубине ручья.

Я выбрал место посуше – на пригорке, расстелил на земле снятую с себя куртку и лёг. Надо мной было высоко, до бесконечной глубины промытое солнечным светом небо. Оно и восхищало, и манило, и пугало. Потому что вдруг, в неведомо почему открывшийся миг, мы все осознаём, что являемся частичкой этой бесконечности. Частичкой неотъемлемой, раз уж было нам даровано это чудо – жизнь.

Поторопивший меня товарищ заставил подняться. Я вновь закинул за плечо ружьё, оказавшееся таким ненужным в этот раз, поднялся на насыпь и посмотрел опять вверх, туда, куда неотрывно глядел мой спутник.

Высоко-высоко в небе большим колышавшимся клином летели дикие гуси и что-то оттуда, с невысказанной высоты еле различимо кричали нам, зачарованно стоящим на крохотном клочке земли, затерянном среди множества заволжских озёр и болот.